

Николай Лесков

Очарованный странник

Глава первая

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму [1] и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полубопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском посёлке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдалённые места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно жилали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошёл и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М... н... не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере, умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Коневца. Од до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ремённым поясом и в высоком чёрном суконном колпачке. Послушник он был иди постриженный монах [2] — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого [3]. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптицах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет тёмный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов. — Я, что вы насчёт того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым лёгким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведаёт и исправляет дела самоубийц, после их смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии [4] в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидели, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, — пьёт вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довёл, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось: тогда, по крайней мере, владыка сжалятся над моею несчастною семьёю и дочери жениха дадут, чтобы он на моё место заступил семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души, — куда потом моя душа пойдёт?» И стал он от этого часу ещё больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» — потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришёл; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей [5].

Владыка и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб божий Филарет [6].»

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостойнства?»

А святой Сергей отвечает:

«Милости хощу».

«Кому же повелишь явить её?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишён, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оною течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки ещё в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скажут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, воронные, а впереди их горделивый стратопедарх [7] в таком же уборе, и куда помахнет тёмным знаменем, туда все и скажут, а на знамени змей. Владыка не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — их: теперь нет их молитвенника», — и проскакал мимо; а за сим стратопедархом его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все

кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилиу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват, — говорит, — в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишиться, я всегда на святой проскомидии [8] за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыка и поняли, что то за тени пред ним в сидении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попка: «Ступай — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «должен»?

— А потому, что «толщитесь»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, иные, сего не понимая, и о них молятся. На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко, бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах [9] или иеродиакон?

— Нет, я, ещё просто в рясофоре [10].

— Все же ведь уже это значит, вы инок?

— Н...да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, — но только из рясофора-то ещё можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтёр, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист [11]? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберёт, кто же ты такой?

— Я конэсер.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтёрах [12] состоял для их руководства.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встаёт на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою её со всей силы за ухо да в сторону, а

правую кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на неё заскриплю, так у неё у иной даже инда мозг изо лба в ноздрах вместе с кровью покажется, — она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдёшь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у неё хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идёт?

— Смирно пойдёт, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчёт её мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и вышелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей [13] приезжал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от неё только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я её направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С божиею помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрёл; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный пояс от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал [14] и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный [15] горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржёт, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было ещё слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдёрнули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню ещё больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щёлк... Он Пк да вперёд, а и его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой ещё по другому боку... Да и пошёл, да и пошёл его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него ещё ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошёл, протёр ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, пёсья снесь!» да как дёрну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

- Нет-с.
- Отчего же?
- Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.
- Какая же?
- Хотел у меня секрет взять.
- А вы бы ему продали?
- Да, я бы продал.
- Так за чем же дело стало?
- Так... он сам меня, должно быть, испугался.
- Расскажите, сделайте милость, что это ещё за история?
- Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, учёной точки берет, и не поверил, говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своём виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоём с ним очень много рому, до того, что он покраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конём делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами закрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнёт — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.
- Поэтому вы к нему и не поступили?
- Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.
- А вы что же почитаете своим призванием?
- А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.
- А когда же вы в монастырь пошли?
- Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.
- И тоже призвание к этому почувствовали?
- М... н... н... не знаю, как это объяснить... Впрочем, надо полагать, что имел-с.
- Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?
- Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протёкшей жизненности даже обнять не могу?
- Это отчего?
- Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.
- А чьею же?
- По родительскому обещанию.
- И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?
- Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.
- Будто так?
- Именно так-с.
- Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.
- Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.
- Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.
- Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. [16] из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актёры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была ещё в особом внимании и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шёл кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки [17] корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован [18]. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и её не помню, потому как я был у неё молитвенный сын, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошёл на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким ещё на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними опознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором [19] были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие [20], донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смиренные и ни сильного характера, ни фантазии весёлой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками как есть весь табун, дёшево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — все дивятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмёт, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначально ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведётся совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придётся, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик фореитором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками [21] звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужась! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддиди-и-и-тт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это фореиторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди

задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь [22] . Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затынул «дддд-и-и-и-т-т-ты-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиной раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковородке, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами заматался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засёк, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошёл прочь!»

А он отвечает:

«Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет, — отвечаю. — Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то, — говорит, — это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришёл от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у неё мелёный сын?»

«Как же, — говорю, — слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли, — говорит, — ты ещё и то, что ты сын обещанный?»

«Как это так?»

«А так, — говорит, — что ты богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же, — говорю, — она сама придёт мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я, — говорит, — не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так, — говорит, — потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарён, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверение». «Хочу, — отвечают — только какое же знамение?» «А вот, — говорит, — тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придёт твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдёшь в чернецы». «Чудесно, — отвечаю, — согласен и ожидаю». Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж, — к новоявленным мощам [23] маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, — и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом [24] лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идёт тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутящая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерёт и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конём с такою повадкою фореитор всегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу; своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходится, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедет. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чувствует, весь рот в крови от удиллов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то закрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орёт: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокажённые несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козёл долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и упёрся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришёл в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

— Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

— Да и где же, — говорит, — тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мёртвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух сморило. Ну, а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрёшь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, по только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вёз, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придёт время, про тебя вспомню, а гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

— На, — говорит, — играй.

Я было её взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас её бросил, а потом её у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошёл от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предречённое в настоящем житейском исполнении оправдалось за моё недоверие.

Глава третья

Не успел я, по сём благодетельствованию своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне засесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубой — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днём они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребёнку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и ещё вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и жёлтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубёнком дразню; да потом как стал пичужку назад с гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; пет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возьмись белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила и помчала. И я её, эту кошку, ещё хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, чёрное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мёртвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьётся. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубёнка тащит.

«Ну, — думаю, — нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, — так она моего голубёнка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо её знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубёнка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился её пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут её сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я её сейчас из силка вынул, воткнул её мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошёл её на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я её из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сём, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я её на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, — думаю, — теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдёшь»; а чтобы ей ещё страшнее было, так я наутро взял да и хвост её, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил, и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегаёт графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

— Ага, ага! вот это кто? вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, — говорит, — Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя её хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

— А как же ты, — говорит, — это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрастe-то поругиваться стал.

— Что, — говорю, — за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и её сама графиня ласкала, — да с этим ручкою хватить меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да её метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в англицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную верёвочку, у лакейчонка её выпросил, и пошёл вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся христианы, привязал ту верёвочку за сук, затравил петлю и всунул в неё голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеётся — белые-пребелые зубы, да так ночью середь чёрной морды и сверкают.

— Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или, — пристаёт, — тебе жить худо?

— Видно, — говорю, — не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдём, — говорит, — лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живёте? Вы ведь небось воры?

— Воры, — говорит, — мы и воры и мошенники.

— Да; вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается, — говорит, — и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого ремесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеются, что осудил меня вражий немец, за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А ещё, — говорят, — спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошёл в разбойники.

Глава четвёртая

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я, — говорит, — тебе поверил, что ты назад не уйдёшь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган ещё до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью

кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто вёрст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию [25], а цыган мне даёт всего один серебряный целковый и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как, — говорю, — я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, — отвечает, — что такая выросла.

— Это, — говорю, — глупости: почему же ты себе много берёшь?

— А опять, — говорит, — потому, что я мастер, а ты ещё ученик.

— Что, — говорю, — ученик, — ты это все врешь! — да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец.

А он отвечает:

— И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, ещё с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошёл к заседателю [26], чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, ещё что-нибудь есть, может быть серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?

— Да, — говорю, — это серёжка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания [27] серебряный.

— Ну, скидавай, — говорит, — их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и серёжку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому ещё нужно — ко мне посылай.

«Ладно, — думаю, — хорош милостивец: крест с шеи снял, да ещё и жалеет». Никого я к нему не посылаю, а все только шёл Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на Торжок, чтобы наниматься. Народу наёмного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и все так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведёт, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привёл он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор, — говорите, — или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, — говорит, — верно, если голубят жалел, так ты можешь моё дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как, — говорю, — в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки, — говорит, — пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтёром отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне её кормить некогда и нечем, так ты её мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте, — отвечаю, — тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки, — говорит, — ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарён.

— А я, — говорит, — на этот счёт тебе в помощь у жида козу куплю: ты её дои и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козю отчего дитя не воспитать, но только все бы, — говорю, — кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, — отвечает, — не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если моё дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щёлкать или моё дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козлёночком. Козлёночка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и её молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько её вымою, а если где на кожечке сыпка зацветёт, я её сейчас мучкой подсыплю; или головёнку ей расчёсываю, или на коленях качаю её, либо, если дома очень соскучусь, суну её за пазуху да пойду на лиман бельё полоскать, — и коза-то, и та к нам привыкла, бывало за нами тоже гулять идёт. Так я дожил до нового лета, и дитя моё подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у неё что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я, — говорит, — тут чем причинен? снеси её лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понёс, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь, надо её в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий тёплый лень, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками тёплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроём одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи тёплый ветер на меня несёт, так точно с ним будто что-то плывёт на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовёт и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенёшься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдёт далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснёшь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдём, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовёшь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко лёгкое поднялось и плывёт, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, ещё вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, фореитором бывши, кнутом засёк. Я говорю: «Тпружи! пошёл прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдём, Иван, брат, пойдём! тебе ещё много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего ещё достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины [28], как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, слышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарёю облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьём ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыхнется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, — думаю, — опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самую нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила её на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю её:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмёт дитя к груди, а сама шепчет:

— Это моё дитя, это дочь моя, это дочь моя?

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай, — говорит, — мне её.

— С чего же ты это, — говорю, — взяла, что я её тебе отдам?

— Разве тебе, — плачет, — её не жаль? видишь, как она ко мне жмётся.

— Жаться, мол, она глупый ребёнок — она тоже и ко мне жмётся, а отдать я её не отдам.

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну, хорошо, — говорит, — ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай, — говорит, — моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребёнком, чтобы я его ещё поласкать могла.

— Это, мол, другое дело, — это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про неё своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребёнка и пошёл опять к лиману, а барыня уже ждёт. Все в ямочке сидела, а как нас увидела, выскочила, и бегит, и плачет, и смеётся, и в обеих ручках дитю игрушечки суёт и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расчёску.

— Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнёт рассказывать, что она того... замуж в своём месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехой и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтёра-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?... с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он всегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать.

А она начнёт плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз попрощаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя моё знала), послушай, — говорит, — что я тебе скажу: нынче, — говорит, — он сам сюда к нам придёт.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтёр.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей её дочку отдал.

— Ну, уж вот этого, — говорю, — никогда не будет.

— Отчего же, Иван? отчего же? — пристаёт. — Неужто тебе меня и её не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтёровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его.

Она убеждает, что ведь, посуды, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки, — отвечаю, — это не моё дело.

— Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должна расставаться?

— А что же, — говорю, — если ты, презрев закон и религию...

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи лёгкий улан идёт. Тогда полковые ещё как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идёт этот улан-ремонтёр, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несёт... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в своё удовольствие подерёмся, Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

Глава пятая

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он её по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, — говорит, — раскинем, у него глаза разбежятся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребёнка, — и с этим самым словом подходит ко мне и подаёт мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

— Вот, — говорит, — тут ровно тысяча рублей, — отдай нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

— Нет, — говорю, — это твоё средство, ваше благородие, не подействует, — а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю;

— Тубо, — пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, — что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе, — говорю, — и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал её, да с кулачками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хват за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чию половину больше оторвётся.

Он кричит:

— Подлец, подлец, изверг! — и с этим в лицо мне плюнул и ребёнка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвётся, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же, — думаю себе, — так я тебе и стану их держать? Пускай любят!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Натё вам этого пострела! только уже теперь и меня, — говорю, — увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими еловыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня ещё судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому, — отвечает, — что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был, — говорю, — паспорт, только фальшивый.

— Ну вот видишь, — отвечает, — а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужась как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, — говорю, — покорно вас благодарю на вашем награждении, но только ещё вот что.

— Что, — спрашивает, — такое?

— А то, — отвечаю, — что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну что это, бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это, — отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

— Это, — отвечает, — правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, — говорю, — я этого никак дальше снести не могу...

— А что же, — говорит, — теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть, — говорю, — нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить, — и взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же? — говорит, — за что же я тебя стану бить?

— Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить, — и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать? И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушёл поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш, — думаю, — пойду в полицию и объявлюсь, но только, — думаю, — опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в своё удовольствие». И вот я пошёл на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, долгие никак невозможно продолжать, и пошёл походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пёстрая-препестрая, а вокруг неё много разных господ занимают, ездových коней пробуют. Разные

— и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посередине их на пёстрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты, — говорит, — его не знаешь: это хан Джангар [29].

— Что, мол, ещё за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески [30], и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

— Разве, — говорю, — эта степь не под нами?

— Нет, она, — отвечает, — под нами, но только нам её никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью выются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, — говорит, — хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуя великолепная, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателем, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навтыяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил её, как делают наши офицеры, что по суетливости все вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на неё вперебой торговаться: один даёт сто рублей, а другой полтора и так далее, все большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки лёгкие, точёные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от неё зорость [31] пришла и господа на неё как оглашённые цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на неё, на лебёдушку, да и ну её гонить, — сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками её ёжит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнёт, а как он ей к холочке принагнется да на неё гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе, ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил её татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталость сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты, — думаю, — милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за неё татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, — но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за неё между господами и ремонтёрами невесть какая цена слагалась, но и это ещё было все ничего, как вдруг тут ещё торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры от Селиксы [32], гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у неё в головах, как и первый статуя, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за неё пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с неё сорвана, а глаза малые, точно щёлки, и орёт сразу:

— Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, ещё больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны ещё всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, жёлтый, в чем кости держатся, а ещё озорнее того, что первый приехал. Этот съёрзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит:

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит.

А он отвечает:

— Это, — говорит, — дело зависит от очень большого хана-Джангарова понятия. Он, — говорит, — не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня, или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и ещё деньги за то получает. Эту его привычку зная, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...

— Диво, — говорю, — какая лошадь!

— Подлинно диво, он её, говорят, к ярмарке всереде косяка пригонил, и так гнал, что её за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про неё не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем отказал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью её от других отлучил и под Мордовский ишим [33] в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг её выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за неё тут за чудеса будут и что он, собака, за неё возьмёт, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того, — отвечает, — что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмёт.

— Что же они, — спрашиваю, — очень, что ли, богаты?

— И богатые, — отвечает, — и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худощий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, — оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от неё и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат; один кричит:

— Я даю за неё, кроме монетов, ещё пять голов (значить пять лошадей), — а другой вопит:

— Врёт твоя мордам, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкун:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей даёт тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун ещё в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригону», — и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозят их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот видишь, — говорит, — этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке её уступили, когда она обоим им так правится? Этого быть не может.

— Отчего же, — отвечает, — азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стилили и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгода! — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгода: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой и бешметы и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых потищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны [34] степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы упёрлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные».

— Ровные, — кричат татарва, — все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «пождождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшеею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнёт изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно поролось! Один хорошо черкнёт, а другой ещё лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдаётся.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да, — отвечает, — тоже такой поединок, только это, — говорит, — не насчёт чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же, — говорю, — они эдак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им, — говорит, — похочется и сколько силы станет.

А те все хлещутся, а в народе за них спор пошёл: одни говорят: «Чепкун Бакшеею перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьёт», и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшеею, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надёжнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшеею держать, а потом говорит:

— Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшеею собьёт.

А я говорю:

— Почему то знать? Ещё, мол, ничего не можно утвердить: оба ещё ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то, — говорит, — они ещё оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же, — говорю, — по моему мнению, Бакшеею ещё ярче стегает.

— А вот то, — отвечает, — и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это, — думаю, — такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, размышляю, — должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьётся!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я и, этому знакомцу пристаю.

— Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за Бакшеею опасешься?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! ты гляди, — говорит, — какая у Бакшеею спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь, — говорит, — как он бьёт?

Гляжу, и вижу тоже, что бьёт яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

— Ну, а теперь сообрази, как он нутром действует?

— Что же, мол, такое нутром? — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит;

— Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьёт, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжёт.

— Что же, спрашиваю, — стало быть, Чепкун надёжней?

— Непременно, — отвечает, — надёжнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падёт, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрехвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать даёт. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котёл посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросёнке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдёт, и он Бакшея заперет. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь, — говорю, — понимаю, — и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А ещё самое главное, — указывает мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнёт и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет, — это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы верёвочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей ещё раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все ещё двигает, как будто бьёт, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересёк Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлёпает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не даёт, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на неё брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, — думаю, — все это уже и окончилось, и мне опять про своё положение в голову полезет», — а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то ещё будет.

Я говорю:

— Чему же ещё быть? все кончено.

— Нет, — говорит, — не кончено, ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжёт. Видишь, палит: это он непременно ещё про себя что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну, а я себе думаю: «Ах, если ещё что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

Глава шестая

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит ещё татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребёнок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, — по-нашему, по-орловски, дергач зовётся: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, — настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой нёсся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этаким лёгкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивлённые слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтёр, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этаким коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точёная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородинка какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтёра тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дёрнул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татаринком... что же... секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролось на мировую, и жеребёнок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, по пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не слушать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлопбынет, я сам под нагайкой спиной поддёрну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как заporоли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через своё упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, — отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немим недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пушал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперёд и упал: посмотрели, а он мёртвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как, — говорят, — ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засёк?»

«Он, — говорят, — тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, — говорят, — по христианству надо судить. Пойдём, — говорят, — в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет её ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте... как же они вас скрыли?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвёртому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь, — коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жён ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдёт, а сабуру у них много было, — в Саратове один татарин целый мешок нашёл и привёз, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своём виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушёл.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетилен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетилены?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается сбежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушёл. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушёл от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнём»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнём резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стружкой зашил. После этого тут они меня, точно, ден несколько держали руки связавши, — все боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдёшь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это, — говорю, — вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же, — говорю, — это пустое дело, так человека испортить, да ещё чтобы не обижаться?»

«А ты, — говорят, — присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи»

«Тьфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал, — скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошёл на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а ещё говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шёл, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую её съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскивали меня и взяли и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщитиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо, — отвечал Иван Северьяныч, — да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь, — говорят, — тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принести, ни что прочее для себя приготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь Наташу, — мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересёк, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, ещё эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвечал он, — эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разно... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеётся. Станешь на неё грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне её на карачках не догнать — шлёпнешься, да и сам рассмеёшься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим жёнам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, У Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне ещё две дали.

— Позвольте же, — запытал опять один из слушателей, — как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-зады, и мало-зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сёк?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьёт, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, говорит, Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, говорит, было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья, — говорю, — слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и

калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетилят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетенный человек ещё лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и ещё жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

Глава седьмая

Как Агашимолова татарва пригнали со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что, — говорят, — тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить, — Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что, — говорю, — мне их больше? мне больше не надо».

«Нет, — говорят, — ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну, — говорю, — легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы ещё дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да ещё и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жён опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жён?

— Как-с?

— Этих новых жён своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я её ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в жёнах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и её жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жён дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парюю принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них все если взрослый русский человек — так Иван, а женщина — Наташа, а мальчиков они Кольками кличут, так и моих жён, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещёные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведёшь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несёт: овцой пахнет, а солнце обливает, жжёт, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмётся обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещёную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже чем от ковыля делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно бльщание... Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чирикание... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росой садится, будто прохладой пахнет, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенести можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи [35] и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется тюбенькуют... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно по крайнем мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость глотишь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиной режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что

посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нет, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастья отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчаный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

Глава восьмая

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушёл из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидеть своё отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуя бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и пленённых», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же, — думаю, — молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятыся.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, — говорят, — из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошёл туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу. И сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал.

Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет, — я говорю, — я, точно, русский! Отцы, — говорю, — духовные! смилюйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять своё дело продолжать: все проповедают.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись», — и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте, — говорю, — их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царём: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, ещё лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, — говорю, — здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

— Что, — говорят, — сыне: выкуп у нас нет, а пугать, — говорят, — нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же, — говорю, — стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у бога много милости, может быть он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

— А ты, — говорят, — не отчаявайся, потому что это большой грех!

— Да я, — говорю, — не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид; наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да, — отвечают, — все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, — говорят, — рабы должны повиноваться [36]. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь, — говорят, — видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, — это все мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не вплёл их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятка, человек лежит.

Я пошёл посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дёрнет, так шкуру и снимет, — а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, — думаю, — не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый боже» над ним пропел, — а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только все без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смиренного проповедают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азиат смиренного бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьёт.

— А главное, надо полагать, идучи к азиатам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришёл да ничего при себе не принёс; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытаться станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришёл и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его

видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначально было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой учёный, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, учёный раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой учёный, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошёл-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошёл, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печён огнём, с небеса нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнём... Азиятам это очень понравилось про учёного раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костёр горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на неё и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подаёт:

«Стой, — говорят, — давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети её стали пугаться, так срубили её и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с, очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были??

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскали и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подмётки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасён.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрощенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

Глава девятая

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошёл без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поужнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригнали к нам два человека, ежели только можно их за человека считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один чёрный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пёстрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка, а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: все ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остаётся в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы [37] пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подушают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «нат-шалыник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выведешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их

реку, на Дарью, перегнуть и там расчёт сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал, Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою с своим огнём, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжёт. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужась как интересно, и все мы хотя немножко этой ужаси боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с жёнами и с детьми под ставки рано и ждём... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

«Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в тёмной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну, — думаю, — однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, — как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все жёлтое делается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слышать, этого, разумеется, никому нельзя этаким пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясётся и опять станет. Это, можно разуместь, кони шарахаются и все в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробежали, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши батыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнём все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звёздами рассыпало... «Эге, — думаю себе, — да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали», — да опять как из яругой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал, да только ногами дрыгают... Я было попервоначально и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришёл и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!»

Да ещё трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнём ходит, все как умерли... Огонь погас, а они все лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовёт меня к себе. Я подошёл и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости, — говорят, — Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо моё дело заиграло: верно уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости, — говорят, — что мы в твоего бога не верили».

«Ага, — думаю, — вон оно как я их пугнул», — да говорю: «Ну уж нет, братцы, врёте, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да ещё трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: ещё одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего бога верить».

«Не губи, — отвечают, — мы все под вашего бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочёл «во имя отца и сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашёл в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть её к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я её и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лёжа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне ещё хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей ещё острастки самый большой фейверк пустил и ушёл...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие лёгкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретёшь. Мне на четвёртый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит: «Садись, — кричит, — веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя бога нет?»

«Как, — говорит, — нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто же, — говорю, — твой бог?»

«А у меня, — говорит, — все бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос, — говорю, — стало быть, тебе не бог?»

«Нет, — говорит, — и он бок, и богородица бок, и Николач бок...»

«Какой, — говорю, — Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живёт».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда, — говорю, — его почитай, потому что он русский», — и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же, — говорит, — я Николача почитаю: я ему на зиму пушай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да ещё на него одного не надеюсь, так Керемети [38] бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же, — говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не и надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошёл прочь, — говорю, — не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лёг для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять ещё в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане. Подполоз ещё ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, — ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от неё, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего, — говорят, — здесь своя нация, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, господи благослови, за своё возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей ещё! — говорят, — ишь ты без неё как зачичкался [39] ».

Я и ещё одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси. но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я, — говорю, — я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в лёгком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеётся.

«Я, — говорит, — над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошёл прочь, и пришёл в Астрахань, заработал на подёнщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в своё имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришёл, он меня вспомнил и велел меня ещё раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шёл. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащамшись... ждал...»

«Ну, мало ли, — говорит, — что; ты ждал, а зачем ты, — говорит, — татарок при себе вместо жён держал... Ты знаешь ли, — говорит, — что я ещё милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взятъся как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же, — думаю, — делать: останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена», — но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я, — говорят, — не хочу вблизи себя отлучённого от причастия терпеть».

И приказали управителю ещё раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным

человеком, с законною бумагою, и пошёл. Намерений у меня никаких определительных не было, до на мою долю бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошёл с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и ещё бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и ещё одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как? магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой её влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла ваша собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это ещё после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так, пожалуйста.

Глава десятая

— Взявши я паспорт, пошёл без всякого о себе намерения, и пришёл на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал её силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что её яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, ещё и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у неё на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, ещё иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлёп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угощенья и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймёт-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтёр, князь, мне ста рублей давал:

«Открой, — говорит, — братец, твой секрет насчёт понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристаёт:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, — вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен, и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело, — говорю, — если кто насчёт лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за чёлку, за храпок [40], за обрез и за грудной сокол [41] или ещё за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную латошу увидал, сейчас начнёт перед ним конём крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберёт, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, их обрезают, — а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звёздочкой, — барышники уже так и зрят, чтобы такую звёздочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают, или горячую репу печёную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идёт, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером рашенная шёрстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Ещё больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западни ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подыметя и глаз освежает, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от тёплого дыхания, и она стоит не шелохнётся, но воздух выйдет, и у неё опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но ещё того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадёт к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком её под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнёт». И я своему ремонтёру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: на завтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и ещё зовёт меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты, — будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладёт и много что чрез годок себе килу намнёт; а эта когда овёс ест, передней ногою топает и колено об ясли бьёт», — и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на моё вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наёмник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтёрскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтёром знакомится, а верно человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтёре, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идёт в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня почти полупочтенный, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идёт, и отвечаю, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько, — спрашиваю, — вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеётся и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кровать, я вам чистенький кулёчек в голову положу, а сам вас постегаяю».

Он, разумеется, и начнёт подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь? — начнёт смехом, а там уже пойдёт сердиться: — Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда, — отвечал он. — Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овёс раздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось, за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с, — говорит, — извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случилось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит выходы?

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпускаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по ним и запьёшь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьёте?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задается: иногда пьёшь, пока все пропьёшь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьёшь, а в другой раз покорооче удастся, в части посидишь или в канаве выпишься, и доволен, и отойдёт. В таковых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждёт меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от неё избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своём «последнем выходе» следующее:

— У пас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка лёгкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках лёгкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакое животное задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от неё не выходил и все ласкал её от радости. Бывало, сам её вычищу и оботру её всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у неё в шёрстке нигде не было, даже и поцелую её в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка её золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотничий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он её, голубушку, променял или продал, или, ещё того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение моё в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападёт на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твёрдо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попускаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и своё усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и все по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придёт деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадёжнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду своё усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадёт. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я их прятавши, и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно мне не судьба в этот раз своё усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошёл я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послунивши, кулак в морду и сунул :

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошёл в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все своё промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришёл, служащие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

— Вы ещё знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сёк, а что я всего лишился, так на это была особая божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он рассказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я её должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за неё денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил, и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми её и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за своё усердие к вину даже утробой жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счёт другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подаёт.

— Верно, — говорит, — ты происхождения из господских людей?

— Да, — говорю, — из господских.

— Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси [42], — говорит, — тебе за это.

Я говорю:

— Ничего, иди с богом.

— Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

— Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

— Что это... ты чай пьёшь?

— Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей.

— Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу.

— Отчего?

— А оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше ещё рюмку вина подать!.. — И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А ещё больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суёте.

— Подумай, — говорит, — ты, какой я человек? Я — говорит, — самим богом в один год с императором создан и ему ровесник.

— Ну так что же, мол, такое?

— А то, что какое же моё, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем. — И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завёл мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмеваются, и в конце говорит; — Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное, но я свою натуру приучил, потому что вижу, что своё надо отбыть, и несу.

— Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты её брось.

— Бросить? — отвечает. — А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно.

— Почему же, — говорю, — нельзя?

— А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.

— Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадёшь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этакую вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.

— Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь её поднимет да возьмёт: рад ли он этому будет или нет?

— Спаси, мол, господи! Нет, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говорит. — Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне ещё графин водки подать!

Я постучал ещё графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

— Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем ещё другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже ещё самым маленьким по-французски богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света её сжил, и, наконец, будучи во всем сам виноват, ещё на бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?

— Не ропщу, — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше.

— Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?

— А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно что Иов на гноище [43], и в этом, — говорит, — все моё счастье и спасение, — и сам опять водку допил, и ещё графин спрашивает, и молвит:

— А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно её не бросай, чтобы другой человек не поднял её и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял.

— Ну, где же, — говорю, — возможно такого человека найти? Никто на это не согласится.

— Отчего так? — отвечает, — да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но он вдруг вскакивает и говорит:

— Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай.

— Ну как, — говорю, — я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково моё дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь, — я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь ослотившись и на ногах покачивается, и говорю:

— Да разумеется, что ты пьян.

А он отвечает:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

— А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

— Что же это значит: какой это секрет?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — не секрет, а это называется магнетизм [44].

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается, и её нельзя ни пропить, ни проспять, потому что она дарована. Я, — говорит, — это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи, — говорю, — сделай милость, с меня!

— А ты, — говорит, — разве пьёшь?

— Пью, — говорю, — и временем даже очень усердно пью.

— Ну так не робей же, — говорит, — это все дело моих рук, и я тебя за твоё угощение отблагодарю: все с тебя сниму.

— Ах, сделай милость, прошу, сними!

— Изволь, — говорит, — любезный, изволь: я тебе это за твоё угощение сделаю; сниму и на себя возьму, — и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна, — говорит, — для меня, другая — для тебя?

— Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тссс! сиянс [45]! молчать! Ты теперь кто? — больной.

— Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, — говорит, — лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство, — и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай, — думаю, — ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша ли, — спрашивает, — вкусна ли или горька?

— Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит, — говорит, — что ты мало принял, — и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнёт, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

— Эта легче, — и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю, да и пошёл пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас её из моих рук выймет и говорит:

— Шу, сиянс... атанде [46], — и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

— Теперь готово, можешь принимать, как сказано.

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своём месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследствии всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечён? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой [47] ходишь.

А он говорит:

— Шу, сиянс! любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса природы совершенство»?

— Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю.

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенство?

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйста вон», а сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сне время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какую силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенёс, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминях [48] нет.

Глава двенадцатая

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая тёмная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие тёмные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампы навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у

меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь, ты? — говорю, — магнетизёр, где ты?

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — ещё поближе. — И как он подошёл, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое, — говорю, — лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе.

— Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе: я магнетизёр.

— Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой...

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизёр.

— Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьёшь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой довечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пе представляю, что ты себя иным человеком ощутишь.

— Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать.

— Истинно, — говорит, — истинно: такое пти-ком-пе...

— Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пе!

— Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так её и постигну?

— А вот пойдём, — говорит, — сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдём.

И пошли. Идём оба, шатаемся, но все идём, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдёт, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пушу.

И вдруг повернул меня к себе спиной и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать... Так чудно: копаются там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

— Послушай ты... кто ты такой! что ты там роешься?

— погоди, — отвечает, — стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю.

— Хорошо, — говорю, — что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?

Он отпирается.

— Ну так постой, мол, я деньги попробую.

Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор, — а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот, — думаю, — штуку он со мной сделал! — а где же теперь, — спрашиваю, — моё зрение?»

— А твоего, — говорит, — теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так, — отвечает, — своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, ещё притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов тёмных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрёстках стоят, ждут и говорят: «Убьём его и возьмём сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и весёлый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиной к какому-то дому, а в нем окна открыты и в серединке светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведёт, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнёт полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту,

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание своё прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпья.

А он мне на это отвечает:

— погоди, — говорит, — ещё не время: ещё опасно, ты ещё не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того, — говорит, — что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

«Нет, — думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так, — говорит, — купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовных.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он ещё хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись, — говорит, — и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штампах в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достаёт. Гляжу, это вот такохонький махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

«Зачем?» — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси, — говорит, — смелее, это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчёт магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу.

Отошёл ли он куда впопыхах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведаёт, но только я остался один и совсем сделался в своём понятии и думаю: чего же мне его ждать? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И

думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь, — все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только оболъщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

Глава тринадцатая

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери открыты, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево ещё две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этикие подсвечники с зеркальными звёздочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь, и слышу, что из-за этой циновочной двери льётся песня... томная-претомная, сердечнейшая, и поёт её голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из неё высокий цыган в шёлковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарём, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизёра и говорит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам ещё прибавим.

И с этим дверь на защёлку защёлкнул и бегит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйста наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь перед мною тихо навстезь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился, комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть её знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поёт. Притом, как я взошёл, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у неё замер... Замер её голосок, и с ним в одно мановение точно все умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто ещё все его больше и больше из дыму выступает? «Ух, — думаю, — да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтёров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя её описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнётся, а из чёрных глаз так и жжёт огнём. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золотом и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет [49]. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади её шёл, вдруг как крикнет:

— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничницами... ей-богу, вот этикие ресницы, длинные-предлинные, чёрные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у неё, как старик на неё повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

— Выкушай, гость дорогой, про моё здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у неё промеж чёрных волос на голове, будто серебро, пробор

вьётся и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью её угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или белая она, а меж тем вижу, как у неё под тонкою кожей, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьёт... «Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизёр правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем, ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно.

А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы ещё пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богаче, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другую мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперёд, и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не кушают, и зовут:

— Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выхолит и... враг её знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь: погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно, — и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитую кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжёт.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмеих, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы её один голос без хора слышать, а она не поёт. Сидит с другими, подпевает, но солу не делает, и мне её голоса не слышать, а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты, — думаю, — доля моя сиротская: на минуту зашёл и сто рублен потерял, а вот её-то одну и не услышу!» Но на моё счастье не одному мне хотелось её послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок» [50], Груша! «Челнок»!

Вот цыганы покашляли, и молодой её брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигающее и за сердца трогает, а я как услышал этот самый её голос, на который мне ещё из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощённый бьётся. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к заезде: «Золотая, дорогая, предвещатльница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждёшь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «чёлном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла-ла. Джа-ла-ла. Джа-ла-ла прингала! Джа-ла-ла принга-ла. Гай да чепурингаля! Гей гоп-гай, та гара! Гей гоп-гай-та гара!

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи ещё одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно

после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споёт, то я ей за то лебеда, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие её все разом просят петь, она на все их просьбы не поёт, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, её понудить? тот сейчас на её глазами поведёт, она и поёт. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счёту лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намёками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль, играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей ещё лебеда! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя тёмное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, милая, Как люблю тебя, драгая!

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остаётся... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведёт, либо усом дёргает, а потом один враг его плечом дёрнет, другой ногой мотнёт, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдёт такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтёр, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идёт — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнёт, шапку к ногам её ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актёрки в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится [51], а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывёт — не колыхнётся, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идёт, а станет, повыгнется, плечом ведёт и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на её танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золотом, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще заваялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу щёлк; она опять ступит, а он меня опять щёлк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя всеуе мучить? Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошёл перед Грушею вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилась, такое средство изобрёл, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебеда и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебеда не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на неё топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывёт, глаза вниз спустила, как змеища-горынице, ажно гневом землю жжёт, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебеда... Сам её так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на неё с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пущаю, чтобы ещё одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десятков остался... «Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Сторонись, душа, а то оболью? — да всю сразу и выпил за её здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

Глава четырнадцатая

— Ну, и что же далее? — спросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизёр, который это на меня навёл: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свёл, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лёг, но только слышу, князь стучит и зовёт, а я хочу с коника [52] встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и, наконец, думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все ещё на конике до края не достиг; а вместо того, как денщик принёс огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталём запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лёг, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизёр, он пьяного беса от меня свёл, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питьё бросить», — и пошёл его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправи, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте; а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казённые деньги швырять, — а потом, это вдруг отменив, и говорит:

— Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лёг свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошёл. Опомился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».

Он отвечает:

«Пошёл к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагибаюсь.

«Что, — говорит, — это значит?»

«Да оттрепите же, — прошу, — меня по крайней мере как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте, — говорю, — как же ещё я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как, — говорю, — это так?»

«Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист.»

«И понять, — говорю, — не могу».

«Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».

«Ну, вот это, — думаю, — понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за неё то отдал, чего у меня нет и не было».

Я во все глаза на него вылупился.

«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».

«Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся: бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как, — говорю, — полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это, — отвечает, — вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесёт, что за все царство от неё не вылечишься, а она одна в одну минуту от неё может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

«Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы, — говорю, — плюнуть и больше ничего».

«Не мог, — говорит, — братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотой и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от неё с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясусь:

«Правда, мол, правда!»

«Мне, — говорит князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочём?»

«Что же, — говорю, — тут непонятного, краса, природы совершенство...»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса природы совершенство, и за это восхищённому человеку погибнуть... даже радость!»

«Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премногомалозначачий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для неё всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я ещё ниже спустил голос и шепчу:

«Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? разумеется, здесь».

«Может ли, — говорю, — это быть?»

«А вот ты, — говорит, — постой, я её сейчас приведу. Ты артист, — от тебя я её не скрою».

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на её лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я её сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идёт и в одной руке гитару с широкою алой лентой несёт, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идёт понуро, упирается и не смотрит, а только эти реснички чёрные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввёл её князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за тайну подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклат. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к её алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустил у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на неё. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на неё, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомиму даёт в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждём, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слёзка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шёпотом по-французски отвечаю: «Пти-ком-пП», — говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут», да как швырнёт гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на неё, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», — да и ну рыдать. И поёт и рыдает: «Успокой меня, беспокойного, осчастливь меня, несчастливое». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — спросил некто рассказчика.

— Нет-с: ещё не тут, а позже, — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему ещё надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

Глава пятнадцатая

— Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдёт, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и её, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за неё невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именье, но разорённое. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда наличко не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на моё и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на неё смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись, — говорит, — послушай.

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, её попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь? Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое её и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после её пения не раз у неё в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава богу, живёте как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как, — говорит, — вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что же это такое у меня есть?

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда, — говорит, — я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать.

Разве это жизнь? Разве это жизнь?

«Вот, — думаю, — что тебя огорчает», — и говорю:

— Ну, если когда вина недостача, ещё не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

«А-га! — думаю, — вот ты что, брат, запел?» — и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтёры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унёсся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму [53], а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завёл, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в тягости. Скучает. «Мало, — говорит, — его вижу», — а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы, — говорит, — изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неучёная.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у неё целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьётся, а её мне заказывает.

— Береги, — говорит, — её, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? ведь это слово любовное.

— Любовное, — отвечает, — да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог её развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович, — возговорит, — ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я её, разумеется, уговариваю:

— Чего, — говорю, — очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплачет, и руками себя в грудь бьёт, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ, — говорю, — у соседей или в городе.

— А нет ли, — говорит, — там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходея мой, жениться? — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я её утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает», — потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи.

Пристаёт она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал не спроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрога наказано было от неё скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семёновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он её, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору ещё большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семёновне, после того как её наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за её добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней зааживали, потому что её любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семёновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну что же; очень рада. Только отчего же, — говорит, — ты к князю не едешь на его квартиру?

— А разве, — говорю, — он здесь в городе?

— Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, ещё дело?

— Фабрику, — говорит, — суконную в аренду берет.

— Господи! мол, ещё что такое он задумал?

— А что, — говорит, — разве это худо?

— Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгенья Семёновна, разрешили?

Она пожала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит, — и с этим вздохнула и задумалась, сидит спустя голову, а сама ещё такая молодая, белая да вальжная, а к тому ещё и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего, как начнёт своё «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое... Я её и взревновал.

«Ох, — думаю себе, — как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул? От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семёновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы аз кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдём вот сюда в гардеробную за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведёт, а мы с тобою ещё разговорцу проведём.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от неё что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семёновны мне был лодиколонный пузырьёчек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек ещё вот этого разговорцу из пузырьёчка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврёт, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семёновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошёл, и говорит:

— Здравствуй, старый друг! испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом, — говорит, — после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать, — и мне слышно, как он её в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семёновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова, — говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семёновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется, — говорит, — выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне её покажешь?

— Отчего же, — отвечает, — с удовольствием, — и встала с места, вошла в детскую и зовёт эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которой я угощаюсь.

— Выведите, — говорит, — нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в своё удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — Посиди, — а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на калеках и говорит:

— Хочешь, мой анфан [54], в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенья Семёновне:

— Же ву при [55], — говорит, — пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поедит, покатается.

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непременно надобно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семёновна нехотя говорит нянюшке:

— Оденьте её и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую. Что у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

Глава шестнадцатая

Путившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щёлочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как её дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?

А он отвечает:

— Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же, — говорит, — ты: я прошу, — мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди по-старому, — и обнять её хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это, — спрашивает князь, — стало быть, без разговора все начистоту выкладывать?

— Конечно, — говорит, — объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы, — церемониться нечего.

— Мне деньги нужны, — говорит князь.

Та молчит и смотрит.

— И не много денег, — молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, — что: «Я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю её, то я буду миллионер, я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдёт, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно».

Евгенья Семёновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчёт у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень не умен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...

И он замолк, а барыня помолчала, вздохнула и начинает:

— Расчёт, — говорит, — ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

Верен, говорит, — верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...

— Да.

— Да; и тогда...

— Голован наберёт у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней её приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь.

А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мёд нить.

— Нам?

— Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты её мать, я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь...»

А она отвечает:

— Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах да, — говорит, — ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте, — говорит, — я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? говори: не жаль? верно, ещё ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам мочёной морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

— Нет — говорит, — кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай, — и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгения Семёновна и подаёт ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоём уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы, — говорит, — будто про неё так и позабыли?

— Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон, а её, дуру, ведь действительно надо устроить.

— Устраивайте, — отвечает Евгения Семёновна, — только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но слава богу, на моё счастье, они с Голованом большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгения Семёновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгения Семёновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до неё: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от неё и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за неё на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастье так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменялось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про неё никто и не ведаёт; и люди-то в прислуге все новые, наёмные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушёл, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни вопрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька ещё недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наёмных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он её, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгения Семёновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всюю страстной своею любовью цыганскою, каторжной и ей было то не снести и не покориться, как Евгения Семёновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчёт свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он её и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришёл и всем людям раздали цветные платки и кому какое идёт по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своём чуланчике покинул, и ушёл с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на её тело убитое? Вечер пришёл, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идёт; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с

невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Алёнушку сказывают, которую брат звал, зову её, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

— Сестрица моя, моя, — говорю, — Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнись мне; покажись мне на минуточку! — И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло и колотится...

Глава семнадцатая

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и лёгкое, точно как подстреленный журавль, бьётся и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

— Родная моя! — говорю, — голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилась? Ничего, — говорю, — не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мёртвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

— Я жива.

— Ну, и слава, мол, богу.

— Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась.

— Что ты, — говорю, — бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдём жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротинке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоём слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю её:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про её, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а моё ревнивое сердце её все равно стерпеть не может, и я её и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещёная, а что душе твоей будет?

— Не-е-е-т, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идёт. Здесь хуже ад!

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я её взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся её красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди тёмного лица как в ночи у волка горят и ещё будто против прежнего вдвое больше стали, да недра разнесло, потому что тягость её тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжалось, и по щекам чёрные космы трепятыся. Гляжу на платице, какое на ней надето, а платице тёмное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, — говорю, — мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулась и говорит:

— Что?.. чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня зато в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь...

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что её запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошусь и твоей молодой жене горло переем.

Я вижу, что она сама вся трясётся от ревнивой муки, и думаю: дай я её не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует...

Она это стала слушать, и вечищами своими чёрными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

— Любил, — говорит, — любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый!. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни через что ничего не было, а все через одно изменство... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина, — и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлопать. — Он, — говорит, — платьев мне, по своему вкусу, таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь; не идёт тебе»; не надену их, в распашне покажусь, ещё того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...

И с этим совсем зарыдала и сама вперёд смотрит, а сама шепчет:

Я, — говорит, — давно это чужала, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...

И рассказала-с она мне насчёт своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посеичас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

Глава восемнадцатая

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя ещё долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрёт в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало... кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и ташу со стены из-под простыни самое любимое его голубое моровое платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застёгнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я, — говорит, — у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость, — и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не ишел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый!» — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дёрнет её изо всей силы крестовым шнурком за шею...

— На счастье, — говорит, — моё, шёлковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезниыл [56] и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передудил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнура; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжёлого пота».

А он:

«Тьфу, тьфу, тьфу», — заплевал, заплевал и ушёл, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляске кататься!» — и притворился, будто ласковый и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельню — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-одноворки в мареновых [57] красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особенно от этих одноворок, замутило, и сердце моё сжалось.

«Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-одноворки стерегут и глаз не спускают... Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, весёлою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да все за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по коже примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А наместо глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на её крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричать, а я, хоть тягостная, ударилась быстрее коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей [58] в густой засаде. Тут подошёл ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него мёдом пахнет, и в жёлтых бровях пчёлки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдёт тебя искать, — вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

— Ты мне все равно что милый брат.

Я говорю:

— И ты мне все равно что сестра милая, — а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею: один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.

— Говори, — отвечаю, — что тебе хочется?

— Нет; ты, — говорит — прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану. Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты, — говорит, — страшной поклянись.

— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.

— Ну так я же, — говорит, — за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай.

Я сдуру пообещался, а она говорит:

— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь.

— Хорошо, — говорю, — и взял да её душу проклял.

— Ну, так послушай же, — говорит, — теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих, — говорит, — больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я ещё день проживу, я и его и её порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленький брат; ударь меня раз ножом против сердца.

Я от неё в сторону да крещу её, а сам пачуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

— Ты, — говорит, — поживёшь, ты богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла... — Н... н... н... у...

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расхолодившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала... разняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне суёт... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...

«Не убьёшь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самой стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть её не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул...

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась, — отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

Глава девятнадцатая

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все чёрное и голова малая, как луновочка [59], а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомился же я где-то на большой дороге, под ракисточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несёт, и жёлтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведёт, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за неё отстрадать и её из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатила, покатила, и вдруг Груша идёт, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у неё малые крылышки; а чуть я её увидел, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно её душа за мной следует верно она меня манит и путь мне кажет. И пошёл. Весь день я шёл сам не знаю куда и не вмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезём».

Я сел. Они едут и убиваются:

«Горе, — говорят, — у нас: сына в солдаты берут; капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошёл, да у меня бумага нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же, — отвечаю, — мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а ещё обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Пётр Сердюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все моё прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течёт по Лидии, так и

зовётся андийская, которая по Аварии, зовётся аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счёту этих татаров побиили, но кои переправились за Койсу, — те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье [60] на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй бог, — говорит, — как вода тепла: все равно что твоё парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесьть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнёт пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третью парю и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!» — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрёт, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлёпают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у неё крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй бог, — говорит, — какой ты, Пётр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я, — говорю, — на своём веку много неповинных душ погубил», — да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит: «Помилуй бог, сколько ты один перенёс, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казённых крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я, — говорит, — очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй бог как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем, — говорят, — тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй бог, как спокойно, — и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал. — Ступай, — говорит, — он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливилось мне насчёт карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало ещё хуже.

— Как на фиту? что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчёт карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како [61]: много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на неё мало пишется, и то ещё из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от неё отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропадающая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошёл.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади [62]. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыряться, а кувырнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью, и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и лёгкости нет; а потом ещё во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в середине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что все по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому ещё с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: все за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его ещё и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шуточки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадётся, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или ещё что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасти должна была. И роль её такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у неё у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он её допекает, лезет к ней, и когда мы втроём в апофеизе в подпол проваливаемся, за тело её щипет. Мне её очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достаётся, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошёл в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил, — здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут), — я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай», — я откладываю.

— Позвольте, — говорим, — так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом ещё постриге, а все же монах и со всеми сравнён.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет... не верят, так и в монастырь светскую ложь занёс, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

Глава двадцатая

Так как наш странник доплыл в своём рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не наткнется; однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и спросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушёл и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Все разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и его, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользоваться. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано [63]: «Противустаньте дьяволу, и побежит от вас» и ты, — говорит, — противустань». И тут наставил меня так делать, что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердцеразжижение и её вспомнишь, то и разумеи, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека, — говорит, — первый инструмент: как на них падёшь, душа сейчас так и порхнёт вверх, а ты тут, в сём возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твоё протягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями ещё прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакоего, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом он понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за чётки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... он-то... Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою ещё иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросёночек издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам, — хоть это против правила, — а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с, положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого мет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своём звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждают?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибёшь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшему: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но

только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошёл и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву, — нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц, молить, а пошёл ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошёл, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы ещё непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углём большой крест написал, и как пришла ночь, я и лёг спокойно, думаю себе: уж теперь не придёт, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужанный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось, — говорит, — и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь пресердитый и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги, — я тебе за это старые тёплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно», — отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принёс, на коей Пётр-апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть ключи: ты эту дверь только заставься, так уже через неё никто не пройдёт».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне эту дверь заставляться да потом её отставлять, я её лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил её на самых надёжных плотных петлях, а для безопасности ещё к ней самый тяжёлый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лёг в своё время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! да ещё мало этого, что дышит, а прёт дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость её располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он её так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, ещё смелее, и опять морда, а блок её ещё жёстче щёлк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за своё взялся, да ещё с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнёт меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бьякнул на месте. «Ну, — думаю, — так тебе и надо», — а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы её поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда наперед у решётки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, ещё лучше со много подстроили и окончательно подвели. На самого на мокрого Спаса [64], на всеобщей, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец, игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подаёт мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празднику».

Я подошёл к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, — две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук

рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой побивал. «Что же, — думаю, — если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живёт, так он за меня заступился.

«За что, — говорит, — вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жёрнов мне на верёвке велели спустить, чтобы я соль для поварни молот. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать!?

— Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершенствуюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, говорит, помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи все на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского [65], и когда, случалось, мимо моей ямы идёт, всегда, бывало, возьмёт да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай, — говорит, — и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии пресвятая владычица и святые апостолы Пётр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапно всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось моё прошение, и стал я вдруг понимать, что сблизается реченное: «егда рекут мир, нападает внезапно всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придёт, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под ноге царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, — говорят, — наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевести и поставить мне образ «Благое молчание», пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смиренно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все «Благому молчанию» молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не повреждён ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий, — говорит, — ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак ещё не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я, — говорит, — его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это, — говорит, — по вашей части, а я в этом не сведущ, мнение же моё такое: прогоните, — говорит, — его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию [66] благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам «Благое молчание» не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все своё внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдёте воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену. Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его ещё больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещения его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.